



М. Н. ПОКРОВСКИЙ

Кающаяся интеллигенция

(«Смена вех», сборник, Прага, 1921;
«Смена вех», еженедельный журнал, №№ 1–3,
Париж, октябрь-ноябрь 1921 г.)*

Для нас не является отнюдь секретом, что среди русской интеллигенции, и в самой России, и находящейся в эмиграции, происходит великая сумятица. Мы знаем, что значительная часть этой интеллигенции «отходит к большевикам, искренно или фальшиво с ними содружествует и даже славословит ими уже содеянное и ныне творимое» («Последние новости», 30 октября 1921 г., передовая «Духовный маразм»).

Признание милюковского органа избавляет нас от всякой необходимости ставить вопрос о *значительности* того явления, которое связано с символическим отныне названием «Смены вех». Да, на белогвардейской массе появилась новая трещина (первой был откол от кадетского ядра самого Милюкова и его группы), еще более глубокая. Да, «значительная часть» интеллигентных сил контрреволюции бросила трехцветное знамя и явно, открыто, «бесстыдно» с точки зрения вчерашних соратников, тянется к «красной тряпке». «Значительная часть» — не обмолвка и не мимолетное впечатление. Почти месяц спустя «Последним новостям» приходится утешать себя тем, что «если даже *количественно* это дело разложения окажется значительным — в качественном отношении оно будет ничтожным» («Последние новости», 22 ноября, передовая «Большевизм и либерализм»¹; мы подчеркиваем «количественно», «П. Н.»² подчеркнули «качественно»).

Начинается массовое дезертирство «командного состава» белой армии. Пришествие в советскую Россию особ в генеральских погонах дало только наиболее выпуклую форму этому явлению. Но и сами

* Статья написана в декабре 1921 года.

«сменовеховцы» принадлежат к командному составу, пожалуй, еще в более серьезном смысле, чем Слащев³ и его спутники. Самый талантливый из них, Бобрищев-Пушкин, крупный октябристский деятель старой России*. Трое других — Ключников, Устрялов и Лукьянов — профессора, плоть от плоти и кость от кости той части нашей интеллигенции, которая почти срослась с правящим слоем старого режима, которая умеет защищать буржуазную идеологию несравненно лучше, чем сама капиталистическая буржуазия и, пользуясь захваченной ею монополией на науку, необходимую пролетариату не меньше, чем хлеб, держит советскую Россию в своеобразной блокаде долго после того, как блокаду снял Ллойд-Джордж. У нас миллионы людей буквально умирают от голода, а мы обсуждаем и издаем декреты об «улучшении быта ученых», которые с голода умирают только на страницах белых газет, там, где еженедельно Троцкий арестует Ленина (а на следующую неделю Ленин — Троцкого) и ежемесячно Кремль штурмуют толпы восставших рабочих**. Когда члены этой архи-привилегированной касты, действительно «отсидевшейся» от революции, начинают признавать и эту революцию, и советскую власть, это значит побольше перехода на советскую сторону ген. Слащева³. Бывших генералов у нас в Красной армии довольно, а вот «советских» профессоров мы до сих пор считаем по пальцам.

«Последние новости» инсинуируют, что зарубежные профессора пошли на это с голода, да с холода («совратят некоторое количество малодушных и *голодных*» — та же статья от 22 ноября). Но, во-первых, голодающим проще было бы скромненько поступить на советскую службу, где никаких «исповеданий веры» и отречений никто, не требует, лишь бы работал «спец». А во-вторых, «П. Н.» себе противоречат, и в другой своей статье издеваются над «сменовеховцами» уже за то, что те в Россию не едут, и не едут именно потому, что им «хорошо живется в Париже, где все в порядке, а дома — голодно, холодно». («Посл. нов.», от 18-го ноября, чрезвычайно злобная и в своей злобности необыкновенно характерная статья Петра Рысса «Братальщики».)

Мотивы поворота к революции некоторой части и зарубежной и внутрирубежной профессуры, конечно, не индивидуально-физиологические. Мотивы эти общественные, политические, и в субъ-

* Так как можно опасаться, что наиболее юной части наших читателей слово «октябрист» уже непонятно, напомним, что так называлась буржуазная партия, стоявшая *правее* кадетов.

** Профессорский паек составляет 136% того пайка, которого никогда не дополучают рабочие, а выдается «академический» аккуратнее, чем все другие.

ективной искренности мотивировки у нас нет ни малейшего повода сомневаться. Но что означает «Смена вех», как объективно-историческое явление? Вот этим вопросом мы и хотели бы заняться.

Прежде всего, тут приходится иметь в виду то, что отколовшаяся от белых часть интеллигенции, хотя и живет под одной обложкой, далеко *не однородна*. Заголовок нашей статьи «Кающаяся интеллигенция», характеризует *массу*. Настроение этой массы может быть лучше всего выражено словами автора заключительной статьи сборника, Ю. Н. Потехина. «Русский интеллигент, всю свою историю отвращавшийся от буржуазности, звание мещанина почитавший сильнейшим оскорблением, вдруг во времена революции не на шутку ощутил себя «буржуем» и бросился опроретью, куда глаза глядят, вместе с буржуазией подлинной. Только теперь по прошествии многих тяжелых месяцев изгнания, эмигрировавшая часть интеллигенции задумывается над парадоксальностью своего положения и все чаще начинает ощущать себя в положении зайца, покинувшего родной лес потому, что вышел приказ подковать всех верблюдов» («Смена вех», стр. 172). «Интеллигенция погубит Россию, предупреждали «Вехи» двенадцать лет назад. Интеллигенция губит Россию, почти можно сказать уже теперь... Но не своей избыточной революционностью, как казалось тогда, а, наоборот, своей неспособностью принять великую русскую революцию в ее единственно возможных народных формах» (там же, стр. 170)*.

Это — настроение самое простое, наименее вызывающее на длинные объяснения. Наша интеллигенция всегда была заражена, по отношению к рабочим и крестьянским массам, тем ядом, который иные называют «генералином». Мужикофильствующая и рабочелюбивая, она не в шутку говорила о «меньшем брате» — и хотя никогда не называла себя прямо «старшим братом», но так себя чувствовала и понимала. А меньшей должен старшего слушаться. Когда меньшей, немножко неожиданно для старшего, дал сзади коленкой Романовым, на него слегка обиделись («зачем не спросился?»), но не протестовать же было против столь удачного жеста. Февральскую революцию милостиво простили, но тут же нравоучительно разъяснили меньшому, что озорничать он должен в пределах: Романовых уж пусть, ну, а буржуазию не смей — она нужна по таким-то и таким-то «строго

* Для незнающих древней истории опять-таки напомним, что «Вехи» — название сборника, изданного в России в 1909 году *правым* крылом тогдашней интеллигенции, во главе со Струве, и заключавшего в себе *покаяние* этой интеллигенции за революцию 1905 года.

марксистским» основаниям. Меньшой сначала послушался, но, присмотревшись и увидев, что «строго-марксистская» линия ведет прямо в болото, снова выскочил из оглобель, уже всерьез и надолго, и снова дал раза — теперь уже буржуазии. Этого перенести никак было нельзя. Люди вообще не любят видеть себя в дурацком колпаке, а когда это украшение увидал на себе «мозг страны», он пришел в дикую ярость, и наделал поступков: а поступки, увы! вещь объективная, и сам господь бог, как известно, бывшего не бывшим сделать не может. От поступков интеллигенции полилась кровь, и чем шире была ее река, тем труднее было протянуть через нее руку.

Дальше пошла скорбь по отобранным районным штанам, неприятности от уплотнившего квартиру рабочего, колка дров, копанье на огороде, чтобы не помереть от холода и голода — и все же холод и голод из-за общей разрухи, основными виновниками которой, конечно, являются те, кто не догадался послать Николая ко всем чертям еще осенью 1915 года⁴, когда соответствующая объективная обстановка уже была налицо, т. е., в первую голову патриотствовавшая тогда и оравшая «ура» интеллигенция, — наконец, разговоры с ушка на ушко об ужасах «чрезвычайек»; все это складывалось в своего рода «миросозерцание», до сих пор, утешим «Последние новости», свято хранимое большинством серой интеллигентской массы в России. Да, именно *количество* пока еще на стороне того, чтобы «стоять перед отчизною воплощенной укоризною», в позе, напоминающей, впрочем, больше генерала Бетрищева⁵, чем некрасовского героя, — горько вопрошая «меньшого брата»: «Каин, что ты сделал с братом своим Авелем?». Рабочие и крестьяне, что вы сделали с российской интеллигенцией?

Но поза генерала Бетрищева, помимо того, что весьма несовременна (ибо на генерала работала тысяча крепостных мужиков, а теперешнему интеллигенту самому приходится работать за мужика), она еще крайне глупа, ибо сердиться на историю столь же малоцелесообразное занятие, как сечь океан. Этим, правда, занимался какой-то древний царь, но, кажется, только по несовершенству тогдашнего комиссариата здравоохранения, не успевшего завести сумасшедших домов. Как раз более умному меньшинству интеллигенции и должно было первому стать стыдно разыгрывать капризного ребенка, отказывающегося от обеда потому, что не дают пирожного. И как раз наиболее квалифицированное меньшинство довольно давно уже пошло работать с революционной властью, населив Госплан, понемногу начиная населять коллегии наших комиссариатов. Что более умная часть интеллигенции зарубежной должна последовать этому приме-

ру, особенно после того, как революция на опыте оказалась прочнее контрреволюции, это было ясно тоже довольно давно. Пишущему эти строки побольше года назад приходилось разговаривать, довольно организованно, с группой оставшихся в России интеллигентов на тему о том, возможна ли массовая амнистия для ушедших и на каких основаниях. Он, конечно, никакого ответа дать не мог, указав только направление, в каком можно искать ответа. Последовали ли его совету, он не знает, — но и его, и других присутствовавших на этой беседе коммунистов «Смена вех» этой своей стороной, покаянной, должна была удивить меньше всех. *Это* давно носилось в воздухе.

Но «Смена вех» не только это. Сказать революции: «будем друзьями, Цинна⁶»* или, по-евангельски, «потерпи на мне, все отдам тебе!», могла та часть интеллигенции, которую отбросила в контрреволюцию обида вождя, вдруг очутившегося в хвосте своей армии. Но, конечно, не у всей интеллигенции лежит в основе настроения *только* эта обида. Не говоря уже об общих условиях, которые в известный момент экономического развития делают контрреволюционной *всякую* интеллигенцию**, большинство русской оказалось в октябре 1917 г. «по ту сторону баррикады» благодаря его глубокому *омещанению*, благодаря потере способности понять какую бы то ни было революцию, какой бы то ни было пафос, какой бы то ни было идеализм, не в философском, конечно, смысле (о, этим наша интеллигенция богата сверх меры!), а в социальном — понять, что люди могут жить не только ради набивания брюха и делания карьеры, а и во имя чего-то другого. Это было то большинство, которого не тронула столыпинщина, удовольствовавшись истреблением его вождей, которое сохранило «легальность» и, до смерти обрадованное, что «пронесло», что его не тронули, другу и недругу заказало совать нос в революцию. «А для успокоения все-таки иногда шевелившейся совести, вся революция была объявлена делом провокаторов. «Известно, мол, что...», «какой же дурак после этого?» и т. д., и т. д. Всецело отдавшись устройству своего квартирно-желудочного благополучия, эти интеллигентные мещане больше всего должны были почувствовать именно удары революции с этой стороны. Роковое влияние на интеллигенцию неудачи первой революции (1905–1907 гг.), сыгравшей столь огромную роль в деле революционизирования русского пролетариата, и отчасти даже крестьянства, надо непременно учитывать при оценке

* Фраза Августа из известной трагедии Корнеля (франц. писатель XVII в.).

** Нет надобности повторять то, что об этом сказано в превосходной статье т. Мещерякова «Новые вехи»⁷.

Позиции этой интеллигенции в 1917 г. Для первых это была «вешняя буря», так необходимая полям, — для последней это была «буря осени холодной», та, что «в болото обращает луг и обнажает лес вокруг...».

На этом болоте густо разрасталась плесень легенд о «бандитах», «немецких шпионах» и тому подобные фрукты интеллигентской психологии. Чего эти большевики стараются? Ясно, что кто-то им платит, кто-то их нанял, купил. В особняках хотят жить — недаром «дворец Кшесинской» так выпячивался в легенде на первый план. Для интеллигентного мещанина это был самый наглядный подход. Эхо этого квартирно-желудочного настроения долго тянется в белогвардейской прессе — еще в 1919 г. можно было читать там фельетоны о лукулловских пирах, якобы устраиваемых Горьким для Троцкого и Луначарского⁸. Но уже в знаменитом дневнике г-жи Гиппиус от пиров Горького остались только скромные котлеты. «Смена вех» знаменует решительный разрыв с этим настроением.

«Современный экстремизм с подлинно революционным пафосом и волей неизбежно выливается в формы социалистической, респ. коммунистической идеологии. Не случайность, таким образом, что и русский экстремизм, носящий конечно, и специфически русские национальные черты, выдвинул коммунистические идеалы» (С. Лукьянов, сборник «Смена вех», стр. 86). «Или, действительно, можно трон разрушить, но не банки? Пишите против бога — конечно, никакой революции. Пишите против властей — оппозиция. Пишите против капитализма — опаснейшая революция, каждое слово наливается красной краской. Здесь нападаешь на сильных. Политическая революция в них не попадает. Разрушающая существующую собственность революция попадает в цель, одна является настоящей. И именно потому, что она по-настоящему ранит, от нее кричат по-настоящему. Но разве меткость — преступление? Если «на земле весь род людской чтит один кумир священный», то для революции сама собою напрашивается тактика ударить именно в этот кумир и, с победной улыбкой, слушать растерянные вопли и проклятия огорченных жрецов. Пусть они, мистически возводя очи к небу, называют посягнувших на такую святыню сынами дьявола, или сводят всю великую революцию к украденным серебряным ложкам. Революции не опозлать — они расписываются лишь в пошлости и узости своего кругозора. Не краденым пользуется русский народ, а взятым» (Бобрищев-Пушкин, там же, стр. 127–128).

Контрреволюционное филистерство изжито. Мы не хотим, конечно, этим сказать, что г-да Лукьянов и Бобрищев-Пушкин когда-нибудь *персонально* были контрреволюционными филистерами.

Мы их не знаем. Но, во всяком случае, *таких* вещей четыре года тому назад они не писали — ибо, если бы писали, то были бы теперь не в эмиграции, а в Р. К. П. Беда в том, что теперь-то это написать нетрудно... Но, повторяем, не в личностях дело: Лукьянова и Бобрищева-Пушкина читают, у них есть публика, есть последователи — это оказали нам «Последние новости». Эти читатели и последователи два года назад смаковали рассказы о тонких винах, которые пьет Горький, и о землянике, которую Ленин кушает в январе. А теперь они смакуют нечто совсем другое. Что же их размещанило?

Как это ни странно, но, прежде всего, сама контрреволюция. У междоусобной войны был пафос с обеих сторон — иначе и войны не было бы. Банкиры и фабриканты просто убежали за границу, ухватив с собою, что можно, они не дрались. А те, кто дрался, преимущественно мелкая буржуазия, городская интеллигентная и темная деревенская должны были иметь какой-то идеал, за который они клали головы. Нам нет никакой нужды это скрывать: на белые фронты ушла *морально-лучшая* часть реакционеров. Оставшаяся внутри рубежа интеллигенция быть может именно потому и являет собою столь унылое зрелище, что эти люди ни за что не дрались. Невозможно себе представить человека, за белую булку живот свой положившего. И вот, картина умиравшей на белых фронтах молодежи, умиравшей нелепо, не за будущее, а за прошедшее, но субъективно клавшей все же таки душу за други своя, эта картина должна была нанести первый удар интеллигентскому филистерству. Эмиграция доделала остальное. Эмиграция многих и из нас отучила от последних «демократических иллюзий», показав нам «великие демократии» в домашнем быту — не в парадном костюме парламентского красноречия а в простенком образе парижского городского, парижской консьержки или парижского лавочника. Только слепой не увидал бы, на чем эта штука держится. Авторы «Смены вех», вероятно, бывали за границей и раньше. Но одно дело *быть*, другое *жить* — и жить не в качестве «богатого иностранца», а в качестве нищего изгнанника. Тут поймешь пафос революции! Психология «Смены вех» для нас ясна, таким образом. Размещаненный суровым предметным уроком истории интеллигент, устыдившийся, что одна из величайших революций мира прошла перед ним, ничего от него не услышав, кроме брюзжанья за пропавшие серебряные ложки — вот, в основных чертах, эта психология, наверно, уже напомнившая читателю «кающегося дворянина» 1860-х гг. Характерно, что для покаяния и тогда необходимо было открепить данного субъекта от его материальной базы: пока были крепостные мужики, дворянин не каялся,

покаянное настроение на него снизошло, когда права и привилегии первенствующего в империи сословия превратились в клочки бумаги.

Но в «Смене вех» не одна психология, и даже психология их — не самое исторически-интересное. У них есть и *идеология*, а у этой идеологии есть замечательное свойство: поскольку психология их с нами сближает, идеология дает возможность с ними размежеваться. А размежеваться необходимо: ибо хотя, конечно, лучше быть «неокоммунистом», чем старо-белогвардейцем, все же звание коммуниста, хотя бы и с прибавкой «нес», даром не дается. На чем основано право на это звание авторов «Смены вех»?

С идеологии и начинается та многоликость ново-веховцев, о которой говорилось в начале. Психология у них более или менее одна, идеологий несколько. Самая элементарная из них мало чем отличается от идеологии любого неопита советского строя, каких немало-таки выступало чередою эти четыре года. Возьмите, например, статью проф. Лукьянова, во втором номере журнала. «Революционное творчество культуры»: это мог бы написать и проф. Гредескул⁹, мог бы написать годами двумя раньше В. Я. Брюсов¹⁰. Тут есть известное *количественное* увеличение: «нашего полку прибыло». Но нет оснований, по этому поводу, ни восторгаться, особенно если принять в расчет, что это пишется *после* нашей победы, так, что тут даже и кредита нет — ни настораживаться: а подлинно ли это «наш полк»? Но вот вам кусочек «Новой веры» Бобрищева-Пушкина. «Для защитников русской государственности, для патриотов, вопрос весь в том, чем явилась для России советская власть: цементом, склеивающим ее, заполняющим ее трещины, или разъедающею ее кислотой. Вопреки проклятиям эмигрантской печати, все более становится очевидным: не кислота, — цемент. Не центробежная, анархическая сила, — центростремительная, государственная. А тогда можно многое вынести, многое простить и — ко многому отнестись с терпением, веря в лучшее будущее... Не ново, что против сильной власти всегда раздается обвинение, что она держит население в рабстве, будто бы управляет им помимо его воли... Слабая власть не существует, поэтому народ всегда хочет твердой власти — а в острые и бурные исторические эпохи она вопрос существования страны. В настоящую эпоху она вопрос существования России. Но уж тогда дозировать твердость трудно, да и некогда, и не до того совсем, — пусть деспотизм, пусть суровость, лишь бы вожжи не были выпущены из рук» («Новые вехи», сборник, стр. 146).

Тут насторожиться приходится. Пусть «суровость»: на то и диктатура. Но во имя чего суровость? Наша — во имя уничтожения *последнего*

рабства, во имя очищения лика земли от последних остатков каннибализма, от эксплуатации. Правда, об этом уничтожении остатков каннибализма Бобрищев-Пушкин говорит «как надо» и почти теми же словами, что и коммунисты (см. особ. стр. 100 и след.) Но это в другом месте его громадной статьи — и кто знает, не позабыл ли он свое же начало за 40-то страниц. А здесь у «государственности» оказываются только две задачи, старые, как учебник Иловайского: «сдерживать натиск извне иноземных сил, сдерживать внутри натиск анархических, центробежных сил. Справляется ли власть с этими задачами? Справляется. Значит, она — настоящая государственная власть» (стр. 146–147 сборника).

Следующие затем две страницы панегирика грядущей социальной революции и советской власти (Бобрищев-Пушкин пишет ее с заглавной буквы), как ее предтече, мало успокаивают. Тем более, что им предшествует такой комментарий к «твердости» власти: «Энергичный, властный правитель жесток, сгибает волю народа под свою волю, пренебрегает за делом возвышенными, иногда святыми словами. В своей тяжелой, черной работе он не позволяет себе даже *нравственной роскоши быть чистым*» (там же).

Слишком уж многое готов простить г. Бобрищев-Пушкин своей власти за «твердость...» Больше даже, чем в данном конкретном случае требуется. Ибо чем-чем, а «нравственной роскошью быть чистым» коммунистическая верхушка советской власти побила все исторические рекорды. Сколько носились с 500 франков жалованья членов Парижской коммуны, — а переведите на золотые франки (в 1871 г. во Франции были бумажные, но курс стоял весьма высоко, а жизнь была много дешевле, чем теперь) содержание российского народного комиссара, вы далеко до этой цифры не дойдете. Более спартанского режима для своих верхов не заводил еще ни один народ¹¹. И ни одна правящая партия в мире еще не вводила для своих членов практического *морального* ценза, осуществляемого нашею «чисткою». Историкам одной этой чистки будет достаточно, чтобы признать советскую власть и 1921 года истинно революционной властью, властью огромного нравственного подъема и огромного пафоса.

Но не будем отклоняться в сторону. Примем, что, говоря о «нравственной роскоши быть чистым», автор «Новой веры» имел в виду террор и ВЧК, нечаянно оступившись в традиционную мораль буржуазного общества, где капиталист пролетария убивать может, и косвенно, и даже прямо (тогда это называется «поддержанием порядка»), а вот ежели пролетарий убьет капиталиста — это преступление, и пролетарий должен раскаиваться, а его друзья — за него стыдиться.

Коммунары, расстрелявшие, в ответ на зверства версальских буржуев, сотню заложников, — злодеи, а версальское правительство, расстрелявшее тридцать тысяч парижских рабочих — только суровый исполнитель своего долга. Лет двадцать назад рацеи этого рода нам приходилось слышать из профессорских уст, и не скоро совлечешь с себя ветхого Адама. Сделаем этот учет на заражение от профессуры, особенно юридической: все же в советской власти г. Бобрищева-Пушкина более всего привлекает ее *внешняя мощь*, проявляемая и на своих, и на иностранцах. Ну, а если бы иностранцы нас поколотили? Что тогда? *Vae victis**? Керенский не сумел завести «порядка» и от этого погиб «в революционной буре» — долой Керенского. Ну а если бы сумел? Немецкие Керенские вот сумели убить Либкнехта¹² и Розу Люксембург¹³, сумели до сих пор подавить все выступления коммунистов (которые, при данной ситуации становятся, заметьте, уже «силою центробежною»): значит, они «истинная власть»? Ленин, значит, летом 1917 г., был силою центробежною, — а осенью стал центростремительною? Летом был «кислотой», а осенью оказался «цементом»? Так влияет погода?

Никакие осанны социальной революции, никакие иеремиады по адресу капиталистического каннибализма не заглушат этих недоуменных вопросов. Г. Бобрищеву-Пушкину придется вырешить для себя, на чьей он стороне, — власти или революции. Ибо в международной-то плоскости, — а она самая главная, и на много лет вперед — власть и революция стоят друг против друга с мечом в руках. Что из того, что мы в своем лагере завели порядок и дисциплину. У гусситов¹⁴, говорят, она тоже была, а те армии, что бросали на Европу старого порядка парижские якобинцы¹⁵, не уступали в этом отношении нашей Красной. Но странен был бы человек, который в XV в. отрекся бы от католицизма и пошел к гусситам только потому, что — ах, какой у них порядок! И между якобинцами и старым миром люди выбирали не по этому признаку.

Все то, что у г. Бобрищева-Пушкина выявляется в отвлеченной форме, полуприкрытое подлинным, хотя и запоздавшим, энтузиазмом неопита социалистической революции, гораздо конкретнее рисуется у самого, несомненно, любопытного и крупного из сменовеховцев, проф. Устрялова. Его лучше взять не в его главе сборника, а в резюмирующей статье, помещенной в третьем номере журнала, под заглавием «Национал-большевизм», и посвященной полемике с П. Б. Струве.

* Горе побежденным.

«Ни для него (Струве), как для участника «Вех»*, ни для меня, как для их воспитанника, не может быть сомнений в огромной и творческой ценности самого начала государственной организации как таковой», — пишет проф. Устрялов (разрядка его). «В социальной жизни “надстройка” может подчас сыграть созидательную и решающую роль. Она не есть непременно нечто вторичное и производное, детально predetermined фундаментом. Она может сама обрести базу, причем нет математически установленного соотношения между данной конкретной надстройкой и определенной конкретной базой. В творческих поисках экономической основы государство может само себя трансформировать».

Вот это не оставляет уже никаких сомнений. Социальная база — иначе говоря, *классовая природа* власти для проф. Устрялова дело второстепенное. Власть — это нечто вроде орла, парящего над землей. Он может сесть на вершину высочайшего утеса, может и «ниже кур спуститься», это дело его собственного выбора. Доселе советская власть опиралась на пролетариат и крестьянство, т. е. на некапиталистическую часть русского общества; но она может опереться и на капиталистов.

Перед нами, таким образом, *третья фаза* белогвардейских надежд. Первая выражалась лозунгом «повалить»! Не вышло: повалились и развалились сами. Тогда появился второй лозунг — «разложить изнутри». В него до сих пор верит Струве, встречая на этом пути трезвое противодействие Устрялова. В ответ на — слегка замаскированный — совет своего учителя использовать против большевизма созданную последним Красную армию, Устрялов ставит прямой вопрос о конкретной форме этого использования. «Если он (совет Струве) имеет в виду безболезненный и «в полном порядке» акт выступления Красной армии (со всеми ее курсантами) против нынешней русской власти, во имя определенной идеи или определенного лица, — то он просто «лишен всякого практического смысла», и из него, как из наивной фантазии, «нельзя извлечь никаких директив для практических действий», даже при признании его «теоретически правильным». Если же он стремится разложить Красную армию теми методами, какими в свое время большевики разлагали белую, — он национально преступен и безумен, ибо разрушает те «белые принципы», которые, по меткому замечанию Шульгина**, переползли-таки за ли-

* Разумеются, конечно, старые «Вехи» 1909 года.

** Мысль из книги Шульгин В. В. 1920 г. Очерки. София: Российско-болгарское книгоиздательство, 1921. Публикуется в данной антологии.

нию красного фронта в результате нашей ужасной, но поучительной гражданской войны...»*.

И у проф. Устрялова на место антигосударственного лозунга «разложить» вырастает лозунг № 3-й, и, пока, последний: «переродить». Пусть советская власть остается на месте, со всеми ее атрибутами. Пусть даже вывеска Р. К. П. висит, где следует. Но чтобы «конкретная база» была новой — не труд и коллективное хозяйство, а, скажем, например, капитал и личная собственность.

Скажем, например, потому, что чаемой им «конкретной базы» г. Устрялов не выдает. Но его идеалы вполне совместимы с идеалами крупной русской буржуазии. Тут полезно припомнить, что говорили представители этой последней в довоенное время — «на рать идучи». Вот, для образчика пара мест из речи Рябушинского¹⁷ на банкете в честь 50-летия Купеческого общества. «Всякая власть — и в этом выражается глубокая суть государства — должна блюсти мощь государства, отстаивать и укреплять его положение в ряду других государств...» «Мы хотим видеть Россию великим государством... Проникнемся целью создать великую мощь государства, а русскому царству да будет слава, слава, слава»**.

Это немножко готтентотски-однообразно, да Рябушинский и не профессор. Но по существу чем это отличается от такой, например, тирады Устрялова (выписка будет немного длинна, но читатели, авось, не посетуют). «Россия должна остаться великой державой, великим государством. Иначе и нынешний духовный ее кризис был бы ей непосилен. И так как власть революции — и теперь только она одна — способна восстановить русское великодержавие, международный престиж России, — наш долг во имя русской культуры признать ее политический авторитет... Глубоко ошибается тот, кто считает территорию «мертвым» элементом государства, индифферентным его душе. Я готов утверждать скорее обратное: именно территория есть наиболее существенная и ценная часть государственной души, *несмотря* на свой кажущийся «грубо-физический характер».

«Помню, еще в 1916 г., отстаивая в московской прессе идеологию русского империализма от наплыва упадочных вильсоновских настроений¹⁸, я старался доказать “мистическую” в корне, но в то же время вполне осязательную связь между государственной территорией, как главнейшим фактором внешней мощи государства, и государственной

* «Смена вех», сборник, стр. 57.

** Цитируем по «Речи» 1913 г., № 331.

культурой, как его внутреннюю мощью. Эту связь я еще отчетливее усматриваю и теперь».

Устрялов честный человек — он признает, что его идеология есть разновидность «идеологии русского империализма». Царское самодержавие сломалось под тяжестью последнего — есть надежда, что «переродившаяся» большевистская власть выдержит. Но для того, чтобы стать прочной базой империализма, эта власть должна, разумеется, сама «обрести базу» в лице возродившегося капитализма.

Мы не будем спорить с г. Устряловым «от принципов». Он не марксист и, опять-таки, честно это признает, попрекая — и правильно — г. Струве за то, что тот «зачем-то пользуется терминологией марксизма». По привычке молодых лет, должно быть: у самых высокопоставленных *parvenus*¹⁹ это бывает — запустит, вдруг, пятерню за ворот и начнет чесать. Г. Устрялов от этих дурных привычек вполне свободен. Он в истории, можно сказать, антиматериалист: «Государственная мощь создается духом еще в большей мере, нежели материей; тем более, что здоровый дух в конечном счете неизбежно дополняет себя и материальной мощью — облекается в золото и ошетиливается штыками» («Смена вех», журнал № 3, стр. 14)²⁰. Что же с него «принципами» возьмете? Но посмотрим — *объективно* возможна ли та картина, какая манит г. Устрялова: революционной советской власти, отыскивающей себе иную базу, вне тех классов, которые делали революцию, пролетариата и крестьянства.

Случаев такой пересадки власти, *как организации*, история не знает. Всякая власть подбирает свой главный штаб из людей определенного психического типа. Якобинский клуб²¹ ни с какого конца не мог бы пригодиться империи Наполеона, — а союз Михаила Архангела²² советскому правительству. Но случаи *индивидуальной* пересадки в истории бывали — бывали случаи, что та или другая крупная историческая личность переставала служить той общественной силе, которая ее выдвинула, и начинала работать в пользу силы, прямо противоположной — за неимением полного примера, какой нужен г. Устрялову, удовольствуемся этими полупримерами.

Как читатель сейчас увидит, мы имеем в виду, разумеется, не мелкое переметничество в узколичных карьерных целях (Микель²³, Мильеран, Бриан, Алексинский и т. д.). Это никакого исторического значения не имеет, имеет только бытовое. Мы имеем в виду крупные, действительно исторические перерождения, в основе которых не было никакого личного расчета. Память приводит их три — одно во времена новейшие, два другие довольно древние. Первый пример — это Бисмарк²⁴, выдвинутый юнкерством, но исторически

сделавшийся орудием антифеодальной силы, германского промышленного капитализма. Второй — это Кромвель, начавший, как вождь индипендентов, революционной мелкобуржуазной массы, а когда достиг власти, опиравшийся на неревOLUTIONционную среднюю пресвитерианскую буржуазию. И, наконец, третий — это наш Борис Годунов, поднятый на престол средним и мелким дворянством, а в последние годы царствования начавший искать более широкую базу в лице крестьянства.

Что же во всех этих случаях вышло? Бисмарк имел шумный исторический успех, но почему? Потому что он привился к классу молодому и свежему, которому принадлежало будущее. Аналогия тут могла бы быть, если бы, например, Ллойд-Джордж переметнулся от империалистической английской буржуазии к рабочим, попытавшись на них базировать свое управление. Вполне возможно, что он имел бы успех, по крайней мере временно. Советская Россия такой аналогии дать не может, ибо «передовее» пролетариата класса все же нет. Годунов служит разительным примером, что даже переход от угнетающего меньшинства к угнетенному большинству дела не поправляет: дать крестьянству то, в чем оно нуждалось, этот все же легитимный монарх не смел, за это мог взяться только революционный казацкий царь, Названный Дмитрий. Но базу свою Годунов, действительно, упустил из-под ног — и рухнул в пропасть. И, наконец, Кромвель, шедший как раз обратным путем, сравнительно с Годуновым, доделывает пример. Что, практически, вышло из того, что Кромвель повернулся спиной к революционному низу, ухватившись за неревOLUTIONционную «золотую середину»? Лишь то, что колесница революции, вместе с диктатурой Кромвеля, быстро покатила вниз, несмотря на все тормоза, и на другой же день после его смерти вверх колесами полетела под откос. Послекромвелевская английская реакция зашла так далеко, как это наверно не представлялось возможным ни одному наблюдателю на другой день казни Карла I²⁵. И — пусть отметит себе это г. Устрялов — вместе с революционной диктатурой пала и «мощь» кромвелевского государства. Англия лорда-протектора импонировала континенту, с нею считалась первая тогда мировая держава, Франция — Карл II²⁶ стал чем-то вроде клиента этой самой Франции.

Итак, лозунг «перерождения» является такой же «наивной фантазией» и, в силу этого, так же «лишен всякого практического смысла», как и лозунг «взрыва изнутри». Они друг друга стоят. Проф. Устрялов единственный из сменовеховцев, который сводит концы с концами, у которого все продумано до конца, оказывается, со своим «национал-большевизмом», человеком отсталым, «человеком до 1917 года»,

человеком, не понимающим, что государство охвачено тем же диалектическим процессом, как и все живущее, что государство, созданное революцией, и государство, опрокинутое революцией, разделены друг от друга бездной.

Перерождать революционную власть нелепо и ничего из этого не выйдет: *гораздо легче переродиться самим*. Не мудрено, что процесс на образовании сменовеховства не остановился и идет дальше. В одном из следующих №№ журнала уже имеется письмо В. Львова²⁷, возвещающего о своем выходе из числа сотрудников, «так как политические убеждения его значительно левее». И права милюковская газета, когда она, в глубоко-печальной субъективно (а потому объективно глубоко отрадной) своей статье «На повороте» (30 ноября), констатирует, что московские правители «разлагают русскую эмиграцию». Да, и не перестанем разлагать, разложили белогвардейщину (милюковский откол, с которого началась трещина, своего меду каплю тут внес), разложим и «национал-большевизм». Русская зарубежная интеллигенция примирилась с *фактом* русской революции: она должна примириться и с выводом из этого факта — с революционным государством. Базы этому последнему искать не нужно, ибо база у него есть — те, кто свергнул гнет и не хочет его возвращения. И какой бы сложной идеологией ни окутывались мечтания о том, «кабы Волга матушка да вспять побежала», закон тяготения, заставляющий Волгу течь от Твери к Рыбинску, не изменится. А вот «начать жить сначала», пожалуй, можно, если твердо на это решиться...

Разложение продолжается

«Некоторая часть русской эмиграции в течение четырех лет продолжает истерически невразумительно кричать о вреде большевиков, своим назойливым криком успев надоесть и наиболее непримиримым врагам коммунистов в Европе. Выдвигая один за другим проекты словесного избавления России от Московской власти, эти истерические люди не могут импонировать деловой Европе, не любящей шумливой фразеологии...»

Опять эта «Смена вех», — подумает читатель, которому «Смена» начинает уже приедаться. Ничего подобного: мы цитируем «центральный орган» г. Милюкова и К°, газету «Последние новости»